

РАФИЮ этого челове-
от все. Каждый из нас
ти, прочитав его книгу,
под обаянием личности
я. Он был и остается
образом самоотвер-
ги, мужества, воли,
с героем своего рома-
на и остается одним из
нашего времени. И каж-
е, когда сталкиваешься
ми его жизни, заново
ишься в этом.

еред нами письма, на-
е его рукой, написан-
еминадцатилетним юно-
адресованные еще бо-
й девушке.

ники этих писем хра-
Москве, на улице Горь-
мемориальном музее
Н. А. Островского.
них можно увидеть в

ли — размышлите
письма и конверты с
Бердянск, доктору
ренфусу для Люси.

ачала прочтем другое,
знее письмо, продик-
знаменитым уже пи-
Николаем Островским.
Из ворах писем мой
ь излек Ваше. И па-
овенно восстановила

цать лет! Это много.
я, что это было вче-

ла хорошая чистая
я дружба. Я вспо-
ищаясь с юной де-
на вокзале. На один
о грустно. Так всегда
инаем о своей юно-
красной, неповтори-

нао Вашего жизнен-
потом. Если вы на-
нем так же тепло и
как и первое пись-
о поможет нам уз-
друга сейчас.

ей жизни знаете те-
Я же о Вас — ни-
ишие дни почта дол-
сти мне Вашу по-

Николай.

мо написано рукой
Николая Островско-
гу, посланную в по-
подписал сам. На

земляра одного из
аний романа «Как
сталь» синим ка-
ыведены два слова
инфус». Эту книгу и

«Пишите мне только правду»

Читая письма Николая Островского

экземпляр газеты «Комсомольская правда» со своей речью Николай Островский прислал в Ленинград вместе с письмом. И хотя прошла война, блокада, тронутые временем листы бережно хранятся в доме на проспекте Статек, где живет Людмила Владимировна Романовская, та самая, которую Николай Островский знал пятнадцатилетней девочкой, называл в шутку мадемуазель Люси и которой писал письма.

— В 1922 году, — рассказывает Людмила Владимировна, — я вместе с родителями жила в городе Бердянске. Мой отец работал главным врачом Бердянского курорта, я училась в школе. Однажды отец с тревогой рассказал об одном своем больном: совсем еще мальчик, а уже успел поработать, повоевать. Теперь вот юношу постигла тяжелая болезнь. Больше всего отца беспокоило настроение больного: он был грустен, ни с кем не общался. А отец, как старый врач, понимал, что успех лечения во многом зависит от душевного состояния больного... И тогда мама предложила отцу: познакомь его с нашей Люсей, она ведь у нас хохотушка, кто угодно развесят.

Я в то время была, действительно, довольно легкомысленным созданием. Жила мы, как и все в ту пору послевоенной разрухи, довольно трудно. Мама меняла вещи на продукты. Я ходила в туфлях на деревяшках, у меня было единственное платье, но меня это ничуть не огорчало. Я радовалась жизни, как умею радоваться только в юности. Любила петь, танцевать, любила стихи, много читала.

И вот отец взял меня с собой в санаторий. К нему в кабинет на кастелях вошел молодой человек, худой, пышно-волосый, с горящими темными глазами. Через несколько минут отец отправил нас гулять. Мы быстро нашли общий язык,

разговорились. Говорили о книгах, о людях, о делах, которую нужно ставить перед собой в жизни. Меня поразила серьезность этого человека, который был всего на три года старше меня. Его волновали вопросы, над которыми я в то время не задумывалась. Он говорил о неле с ненавистью, говорил о буржуах и буржуйчиках, которые вдруг полезли из всех щелей.

Я слушала его не перебивая — с таким человеком, так рано возмужавшим в борьбе и труде, мне еще не доводилось говорить, да еще так серьезно. Я приезжала на курорт еще несколько раз. Островскому стало легче, он уже поменял костыли на палку, и мы гуляли по парку, выходили к морю. Я не помню сейчас подробности наших разговоров, но помню, что он рассказывал истории из своего детства, вспоминал военные эпизоды.

А потом он приехал к нам в гости. Дом у нас был обжитым для интеллигентов среднего класса. Внимание Островского привлекали библиотека классиков — приложения к журналу «Нива» и пианино. Я немного играла, и он всякий раз, когда приезжал, просил поиграть ему. Я играла, пела романсы, русские и украинские песни — в пятнадцатилет, если даже нет голоса, все получается. По вечерам мы всей семьей пили чай в саду, и наш гость скоро стал чувствовать себя у нас совсем свободно, был весел, шутил.

Приближался день его отъезда. Я пошла провожать его. Мы договорились переписываться...

Они переписывались несколько лет. Люся собирала письма своего друга, но до сегодняшнего дня они сохранились не все. Незадолго до войны по небрежности одного литератора часть из них была утеряна. Позже подлинники писем Людмила Владимировна

педала в музей. Себе оставила лишь копии и книгу с детственной подписью писателя.

Вот мы читаем эти письма, пыльные, нежные, искренние порой сумбурные, порой мисмалитские, требовательные к себе и к другу, порой грустные...

Шепетовка, Воляны. 222.

мадемуазель Люси!

рощаясь с Вами в Бердянске я говорил, что напишу Ва. Вам пишу отсюда за тысячу с лишним верст, и вернее, Люси, я пишу то, что горит моя душа. Вы, наверно, знаете, что это такое, это мучительное сожаление о том, что ведь можно было быть

лишь на мгновение счастливым и знать это счастье так, как я привык, Люси.

Какая-то девушка с черными глазами, на несколько дней зашедшая асей душой, не придала ничего, кроме тяжелого сожаления о прошедшем, и ознание того, что те ласки и минуты детского, чистого юного увлечения были как бы даром милостивой судьбы...

Когда уезжал поезд, мне сказали, что я был бледен, как полотно. Но это ничего, Люси. Я не оскорблен ничем. Воспоминание о Вас, и Ваши глаза, такие милые в последний день, иногда встают передо мной, когда я... будто слышу Вас: «И женских тма сердца»...

Люси, когда Вы будете читать это письмо, Вы, я уверенно знаю, не поймете всей той муки, в какой я живу это последнее время. Я сам по себе знаю, что, когда человек спокоен, его не мучит ничто, он душевно спокоен, он, читая послание вроде моего, никогда не поймет, сколько волненья переживает то, открывая свою душу, свои сокровенные уголки души.

Именно Вам, Люси, такой далекой, такой дорогой мне, моей самой хорошей светлой минуте... — я открываю все, что так влезло в душу.

В этом письме он пишет о том, что волнует любого восемнадцатилетнего, — он пишет о любви. Его мысли изложены сумбурно, чувствуется, что ему как будто не хватает слов, чтобы высказать то, что он думает и чувствует, но в каждой строчке ощущается бие мысли человека ищущего, думающего, старающегося познать себя и окружающих.

Уже в детстве Островский навивался всякого: в 12 лет — он «мальчик» в станционном буфете. И, может быть, именно с тех дней он навсегда возненавидел пошлость, грубость и грязь. Ему чужды женщины, в которых нет «никакого натурального чувства», ему одинаково ненавистны фальшь, подчинение условиям и распушенность, легкость в отношениях мужчин и женщин.

Уже тогда, в свои восемнадцать, он видит в женщине друга, товарища, равного себе, мужчине, человека (вспомним: это 1922 год, равноправие женщин всего пять лет как провозглашено, но, чтобы его восприняли все, нужны будут годы).

Через много лет, уже став известным писателем, он скажет своему другу писательнице В. Дмитриевой: «А знаете, несколько лет назад я ведь был не такой. Представляете себе, неотесанный парень... грубый... А вы думаете, кто меня переделал? Женщины. В лазарете, где я лежал раненый, были сестры и женщины-врачи. Такие ласковые, добрые, так нежно за мной ухаживали, мне стало стыдно, что я такой грубый. Я начал воздерживаться, следить за собой. Ну вот и облетелась. Конечно, если бы не огромные запасы внутренних сил, не стремление ко всему лучшему, женское влияние не произвело бы того чудесного действия, о котором он гово-

рил. Но то, с какой нежностью и бережностью он избирал женщин в своих книгах, говорит о многом.

Но это было потом. А сейчас в письме к Люсе он вспоминает девушку, с которой когда-то пытался дружить и которой, как он пишет, быстро наскучил «теория» о цели в жизни... Может быть, в Люсе его привлекало именно то, что она умела слушать, что ей были интересны его «теории» и что веселость и внешнее легкомыслие сочетались в ней с серьезным отношением к жизни. Иначе, наверное, он не писал бы ей этого длинного письма, полного размышлений о жизни и людях. Лишь в конце несколько строк о себе:

«Я теперь один сиюздесь, в Шепетовке Волянской губ., в 5 верстах от польской границы... Никто... не заглядывает ко мне, живу отдельно, почти на хуторе около своей мамуси, которая сейчас ушла к сестре за 130 верст пешком и вернется, может, лишь через недели две. Я болен, не могу ходить, и все вместе взятое, Люси, так грустно...

Я жду от Вас письма, жду так сильно, что Вы не можете себе представить...
Н. Островский».

Одиночество тяготило сильнее, чем болезнь. Книжки не могли заменить друзей, одиночество, и потому так печально заканчивается это письмо. Оно написано в один из самых трудных моментов в жизни Островского. Лечение в Бердянске почти не улучшило его состояния. Он оторван от своих, от комсомола, он не может работать, он не знает своего завтра. У него одно желание — лечиться, вылечиться во что бы то ни стало и снова встать в строй. Его мучает неуверенность в том, что выздоровление возможно. Метания, отчаяние, боль — и снова надежда. Не забудем — ему только восемнадцать, время,

когда человек идет к самому себе, строит самого себя.

Следующее сохранившееся письмо написано 20 марта 1923 года.

«Шепетовка Волянской губ. Люси! Одна просьба: я хочу увидеть милую Люси. Неужели ты откажешь в присылке фотографии? только посмотреть и отослать обратно, если нужно. Жду».

Эту просьбу она выполнить не могла: фотографии просто не было.

«Милый далекий Люси!»

Наконец, я смог, далекий друг, лишь только теперь, когда прошло так много времени, снова дать тебе в твой... Бердянск весточку о том, что жизнь еще не совсем задавила меня и если и спотыкался я сильно, но все-таки поднимался. Странно, но живуч человек, Люси, и нужно хорошо ударить, чтобы дойти сразу. Не знаю, знаешь ли ты, Люси (я буду звать тебя так, как ты мне ближе), о том, что случилось за время, прошедшее от того момента, когда я получил твое письмо...

Стараясь привести в порядок разбегающиеся мысли. Время, проведенное в клиническом госпитале, наложило на меня печать. Теперь я бледный, как только может быть бледен человек. Снова разбавляющаяся с помощью последней болезни водянка колена прогрессирует по-прежнему. Вот еще прошу об одной услуге, Люси. Хотя я был у многих врачей, и даже хороших врачей, и приблизительно знаю болезни колен, но прошу тебя, Люси, порасспроси отца всесторонне и напиши мне только правду. Порасспроси у папы средства лечения домашнего.

Я похаживаю излечившегося от смерти, которому предстоит опять борьба, и уже так надоело все это. Пиши мне сейчас же, Люси, если только ты не забыла еще. Мне так хочется узнать, как ты живешь и что у тебя нового, милая Люси...

Николай Островский, секретарь районной комсомольской ячейки, комиссар батальона всеобщего, жил, как и все активисты, — практически на военном положении. Революция, гра-

ната, карабин всегда были готовы.

«Большую часть своего времени Островский проводил в гуще молодежи — в селах, деревнях, на хуторах, — вспоминает И. Богомолец. ...Почти каждое воскресенье в Берездове, в саду бывшей попиковой усадьбы, собирались комсомольцы всего района. Присутствуя на этих собраниях, я видел, с какой страстностью выступал Островский перед молодежью. Несмотря на свое нездоровье, он никогда не жаловался, был веселым, жизнерадостным, бодрым».

Вот так он живет и рад этой жизни. Но мечта о личном счастье, о любви — такая естественная мечта — живет в нем, и он считает, что «сам бог, если бы он был», не отказал бы ему в этом.

Дни наполнены работой. Он приводит в комсомол десятки людей, он видит вокруг себя товарищей, разделяющих с ним его идею — идею борьбы за лучшее будущее человечества.

А что же та девушка, которая уже год живет в его памяти и сердце? С кем она, по какую сторону баррикад? Он мыслит социальными категориями, и ее непролетарское происхождение, некоторая отстраненность от политической жизни мучают его. Он делит людей на две категории: эгоистов, «кто готов посвятить всю жизнь идее наживы и личного счастья», и тех, кто борется за счастье для всех. И он пытается объяснить к Люсе это свое отношение к людям. Стараясь не обидеть ее, он все же не скрывает и не смягчает своих позиций.

«Люси! Далекая, почти забывшая, но славная воспоминаниями нескольких минут — хорошая Люси. Жизнь разнесла нас так далеко, но воспоминания так живы. Помните, я Вам говорил, что буду вспоминать при самых тяжелых моментах моей жизни, и я вспомнил и пишу Вам, хотя не знаю, есть ли Вы там в Бердянске или нет. Прошло так много времени...

Я помню вокзал и Ваш уход, первый раз в жизни мучительное состояние, уходящая Ваша фигура, и впереди пустота... Помню Ваши волосы, черные, черные, и глаза черные... В моей жизни пролетария я не знаю женщин, и не приходят они ко мне так, как пришли Вы... И то, что было так туманно, так непонятно, оставило мне в памяти Вашу уходящую фигурку на вокзале и то, что было за минуту-секунду до того, — единственная ласка девушки, к сожалению, единственная...

Сам пролетарий, сын рабочего... я имею право на место в той семье, что зовется коммунистами. Не знаю Вашей мысли, наверное, Вы в противном лагере, но пишу не убежденной буржуазке или мещанке, а пишу славной Люси...

Сейчас руковожу группой коммунистов, малой, но спяной семьей... Я пишу тебе, единственной, далекой Люси, которая уходила тогда...

Н. Островский».

Группа коммунистов, та «малая, но спяная семья», о которой он писал, это комсомольцы Изяслава, куда Островский был направлен Шепетовским окружным комсомолом. «По инициативе Островского, — вспоминает бывший изяславский комсомолец Б. Бирштейн, — впервые в Изяславе начали организовываться молодежные воскресники. Недалеко от Изяслава находился сахарный завод, разрушенный в период гражданской войны. На до было его восстановить. ...В назначенный час все были на месте. Перед собравшимися выступил Островский. Говорил немного, но с присущей ему страстью.

Райисполком выделил подводу, на которую уложили инструменты и наши пожитки. Мы знали, что Островский болен, что ему трудно ходить, и предложили ему доехать до завода на подводе. Он наотрез отказался...

«Изяслав Шепетовского округа

...Слишком с переборами мы пишем друг другу и, мне кажется, становимся чужими. Правда, мы слишком далеки друг от друга, и последняя встреча 2 года тому назад, все-таки нитка связи не прерывается. Письмо последнее меня разочаровало. Слишком

много о себе, о своей жизни говорит. Вы в нем...

Я пишу Вам одной, что нет и минуты в жизни моей последние годы, когда была лаской девушки... Я спотыкался, потому что шел к лучшей жизни и не так к моей, как вообще к лучшей жизни... Что у меня осталось сейчас родного, дорогого? Только одна партия и те, которых ведет она.

Люси, не считайте меня, мой друг, за мальчика, который сидит, ничего не делая, вздумал разочаровываться и мечтать о воздушных замках. Порываю желанья жить своей мечтой бросил меня в Армию в 1920 г.»

Островскому было 16 лет, когда заместил председателя Шепетовского ревкома Ц. Исаева дала ему рекомендацию для вступления в Красную Армию добровольцем. Командир полка А. И. Пузыревский запомнил этого бойца: «Он был связистом, кавалеристом, разведчиком, молодой боец с кипучей энергией, прекрасными способностями организатора». С той поры прошло четыре года, и каких года! Они дали ему многое.

Конечно, в свои двадцать лет он был взрослым человеком. Он выстрадал свои убеждения и крепко верил в то, к чему пришел.

Вот как характеризуют его товарищи в 1924 году: «...Он является фактическим руководителем комсомольской работы, проявляет инициативу, настойчив в проведении работы. Вполне ориентируется в политической обстановке, руководствуясь марксистскими методами».

А вот что пишут о характере Островского: «Выдержан, умеет владеть собой. Вспыльчив вследствие расстройства организма. Свои ошибки признает и делает из них соответствующие выводы. Дисциплинирован, склок не любит. В свою бытность в Изяславском районе поддал работу во всех ячейках».

«...С тех пор, как уехал от Вас, Люси, я Вам не пишу о своих чувствах к Вам. Иногда подумую, что улыбаюсь с такой болью, что если бы мог

плакать, то заплакал бы с благодарностью. Я чувствую как старик, и живу как старик, проживший все свои радости, которые оставались лишь воспоминаниями. Знаете, если бы кто-нибудь из тех, которые считают меня своим товарищем-руководителем, узнали, что я, такой бледный, суровый, мог бы писать какой-то далекой девушке, может быть, из чужого лагеря, то, что я пишу... Да, я пишу Вам, потому что Вы одна... пришедшая с лаской девушкой. Теперь далекая, чужая, и я пишу Вам здесь о любви...».

Он напрасно думал, что товарищи в нем, суровом и требовательном, не видели нежности, которая проявлялась во всем — и в любви к матери, и в заботах о детях из детского дома, и в отношениях с друзьями. И в письмах к далекой Люси. В этих письмах он давал волю своей нежности, мог быть, именно потому, что она была далекой... И потом он не боялся, что Люся начнет жалеть его. Она с первой встречи сумела показать ему свое уважение к нему и восхищение его волей и терпением — о жалости не могло быть и речи. А перед товарищами он скрывал свою нежность и ранимость, потому что не терпел жалости. Вот как об этом пишет А. Давыдова, которая познакомилась и подружилась с Островским в том же 1924 году, когда он лечился в Харьков в медико-механическом институте:

«Многие медицинские работники... уважали Островского, но немногие понимали, что жалость непереносима для него. Стоило ему с чьей-либо стороны почувствовать жалость к себе, как он замыкался, обрывал разговор, уходил в себя».

С Люсей он откровенен, он не боится показаться слабым («если бы мог плакать, то заплакал бы с благодарностью»). И в то же время в этих письмах он предстает перед нами сильным, той силой чувства, что горело в нем, несмотря ни на что.

Говорят, что человек — это то, что он делает. Но человек это еще и то, что он чувствует. Только кривая личность способна на большое чувство.

Но таких писем, какие он писал «мадемуазель Люси», он не писал никому.

П. СОЛОВЕИ.
И. ДОРОШЕВСКАЯ

Представим жизнь Островского в эти годы: постоянная опасность, налеты бандитов, сопротивление кулаков, мешанской морали, невежества. Работы по двадцать часов в сутки и коварная болезнь, сковывающая тело. И только поддержка товарищей, опущение, что ты нужен, что ты в строю борцов, дает силы. И любовь. Ведь и в последнем сохранившемся письме к Люси он вторит, как заклинание:

«Скоро меня посылают на юг, может быть, увилюсь с Вами. Пишите, если только можете, сейчас же, и пришлите то, что я в единственной просьбе говорил — маленькую головку.

1924 г. 8 августа».

Август 1922-го — август 1924-го. Как много за эти годы произошло в жизни будущего писателя! Райорганизатор комсомола на Воляны, комиссар батальона всеобщего, делегат VIII Волянского губернского съезда комсомола. Вступление в партию.

И все это время в памяти живет образ юной девушки... Он никому о ней не рассказывал — ни матери, ни сестре, вместе с которыми тогда жили Н. Н. Лисицыну, старшему товарищу и другу, к которому был очень привязан.

И потом, после, он тоже не рассказывал о своем первом романтическом чувстве, хотя часто в зрелости люди охотно вспоминают свою молодость. Думается, здесь проявилась строгость Островского в вопросах морали, его сдержанность, душевное целомудрие. И лишь в его романе, вчитываясь в историю отношений Павла Корчагина и Тони Тумановой, можно найти отдаленные отголоски того душевного волнения, которое пережил в юности сам писатель.

Третий том собрания сочинений Николая Островского. Письма. У Островского было много друзей, он любил их и писал им часто, писал душевно, искренне, тепло.

Но таких писем, какие он писал «мадемуазель Люси», он не писал никому.

П. СОЛОВЕИ.
И. ДОРОШЕВСКАЯ